



Иван Алексеевич Бунин

Вести с родины

Содержание

#1	0005
Комментарии	0021

Иван Алексеевич Бунин
ВЕСТИ С РОДИНЫ

«А право, — с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества, — нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях! Ишь, как старательно выводят!»

Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены; все рисовали — вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-президента с одним из членов общества на время оживил всех; но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав: перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свиды, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире.

— Здравствуйте, — сказал он шепотом, — о чем речь?

— Доклад Толвинского: «Из практики сохранения кормовой свекловицы».

Свида сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова.

— Там вам телеграмму принесли, — сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет.

— Из института? — быстро спросил Волков.

— Не могу знать.

— Из института, верно, — сказал Волков.

И, поднявшись торопливо, на цыпочках пошел из зала. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздохнул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу.

Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной темноты одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрым и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы.

«И чего только не рисуют, — думал он. — И как старательно!»

Темнота, сырой ветер, треск проносящихся

экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института... Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля; перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв... Все это надо будет уставить, разложить (он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом, в блузе), а затем начать работать серьезно — и практически, и по части диссертации...

— «Восста-аньте из гробов!» — пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки.

— Иван Трофимыч?

Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своей холодной и мокрою маленькой рукою.

— Вы откуда?

— Из сельскохозяйственного, — ответил Волков.

— Что же так рано?

— «По домашним обстоятельствам». А вы?

— Из конторы. Работаем, батенька...

— У вас, значит, и вечерние занятия?

— Да, то есть нет, только весной — к отчету подгоняем... Да скверно, знаете... Даже не скверно, собственно говоря, а прямо-таки — подло... Бессмыслица...

Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съежился в своем пальтишке с небольшим, потешным воротником из старого меха.

— Почему? — спросил Волков.

Иван Трофимыч встрепенулся.

— То есть как почему? Да на кой черт кому нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудо-верстах, осе-верстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?

— Ну, положим, смысл-то есть...

— Белиберда! — воскликнул Иван Трофимыч с сердцем.

Волков снисходительно улыбнулся.

— Ну, идите куда-нибудь еще, — сказал он спокойно

— То есть куда это?

— Да у вас ведь имеется диплом?

— Самый форменный.

— Ну, и что же?

— Ну, и что же? — повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая очками. — Вы думаете, я не ушел бы? Да ради бога — куда угодно! Вы подумайте только, — начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто, но Волков перебил его:

— Отчего же не идете?

— Вам сколько лет? — вдруг спросил Иван Трофимыч.

— Двадцать четыре года и пять месяцев. А что?

— Ну, вот видите! А мне сорок... И, главное, никуда, то есть так-таки никуда меня не пустят. Я ведь якутский человек. Понимаете? Вот теперь люди мрут от голода, есть живое, святое дело... Понимаете? Святое! А разве нас с вами пустят туда?

— Я занимаюсь наукой и работаю, могу сказать, серьезно, — сказал Волков.

— И пудо-верстами вы бы занялись так же серьезно?

— Пожалуй, и пудо-верстами... Я, право, не понимаю, господа...

— Прекрасно, — почти закричал Иван Трофимыч, — я отлично знаю, что вы, господа,

многого действительно не понимаете! Только вот что, батенька, — утешаю себя недоверием, понимаете, утешаю себя тем, что многие из вас только играют в эту трезвость! Разумеется, уже сама по себе эта игра...

— Именно играть-то мы и не хотим, — перебил Волков. — Вы говорите: идите, помогите. А мы будем помогать наукой, а не «хорошими» словами.

Иван Трофимыч махнул рукой.

— Мы, знаете, так раскричались с вами, — сказал он с улыбкой и крепко пожал руку Волкова, — будьте здоровы!

И, повернувшись, съежился и скрылся за углом. Волков постоял, подумал... И, мгновенно забыв об Иване Трофимыче, зашагал еще быстрее.

Он торопливо пробежал лестницу своих меблированных комнат, отпер номер и при спичке разорвал телеграмму.

«Посылаются пятницу девятнадцатого», — стояло в ней.

На столе, кроме телеграммы, лежали два письма. Адрес на одном из них написан был

рукой зятя. Волков зажег свечи, сел на диван и с улыбкой принялся за письмо.

«Любезный брат Дмитрий, — читал он, — мы, разумеется, все живы и здоровы, про тебя, конечно, ничего не знаем: как уехал, прислал два слова; пиши, брат, пожалуйста, поскорее, приедешь ли ты хоть к святой неделе. Отвечай поскорее, а то вот-вот полая вода и на станцию не будет ни проходу, ни проезду...»

Волков перевернул страницу и стал просматривать конец письма:

«Невозможно проехать в город, все метели, а голодают у нас здорово. Впрочем, я тебе не писал со святок, и ты не знаешь, что в Двориках умерло несколько человек. Умерла, брат, наша Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренко. У Мишки прежде умер ребенок, а на первой неделе и сам он — от голодного тифа...»

Волков вдруг опустил письмо... переставил подсвечник и снова с ужасом и напряжением перечитал эти две строки:

«...Умерла Федора, кривой солдат воргольский и Машка Шмыренко...»

— Не может быть! — сказал он громко, поднимаясь. — Не может быть! Мишка — друг детства... головастики вместе ловили... от голода!

Волков опять сел, криво улыбнулся, снова вскочил и торопливо пошел к дверям. Но от двери он круто повернулся и зашагал по комнате, быстро пощелкивая пальцами и лоя разлетевшиеся мысли...

Он читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми деревнями побираться, покупал сборники и всякие книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось, «*в пользу пострадавших от неурожая*». Но те, пухнувшие от голода, казанские мужики не отделялись от газетных строк; а это не казанские мужики, это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренко, с которым он

когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кроватке, звонко перекликался, купаясь в пруде, ловил головастиков. И вот он умер, и на распутицу для него ездили в село за тесом на гроб. Максим, колесник, сколотил этот гроб, и в него положили детски-худое тело Мишки. У него и прежде были узкие плечи, худощавое лицо... Но еще худее стал он, когда его, в белой новой рубахе, клали в гроб. И наутро этот гроб поставили на розвальни и повезли по весенним полям в село...

Наклонившись под кровать, Волков вытащил оттуда большой деревянный ящик. В ящичке лежало несколько ветхих детских учебников, и на исподней стороне их переплетов Волков увидел рисунки Мишки: кривой дом с зигзагообразным дымом из трубы, удивительно изогнувшийся конь с хвостом, похожим на этот дым, и разъехавшиеся в разные стороны каракули: «*Михаил Колесов*»...

Еще до сих пор от этих книг пахло курной избой. Вместе с Мишкой бегал он в Дворики учиться по ним у солдата Савелия. Там, при тусклом свете коптящей лампочки, за столом сидела толпа ребятишек. Поминутно чмокала

отворявшаяся дверь и словно всплывали в волнах пара новые ученики. Шумно усаживались они за стол и, положив на него локти и болтая под лавкой ногами, наперебой начинали долбить уроки.

— «Богородица-диво-радуйся... Богородица-диво-радуй-ся...» — тоненьким голоском заливался Мишка.

— «А ну-ка, Бишка, почитай, что в книжке...» — сосредоточенно бубнил старостин сын Никитка, толстый малый, который всегда сидел без полушубка, но в шарфе.

Сам Догадун, староста, коренастый мужик с румяным лицом и сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, стоял против стола, опершись на сажень, с которой не расставался.

— Никит, — перебивал он иногда важно, — ты что учишь?

Никитка решительно откашливался, краснел и отвечал сильным шепотом.

— Выучил?

— Нет еще.

— Ну, так стой, погоди, ребята, — продолжал Догадун, — разгадай задачу... А вы все, ре-

бята, тоже не дреми!

И он начинал:

— Шли пять стариц и несли они, ребята, по пяти костылей. На каждом костылю — по пяти суков, на каждом суку — по пяти кошелеек, у каждом кошелее — по пяти пирогов, у каждом пирогу... к примеру сказать, по пяти воробьев. Сколько это воробьев выходит?.. Ну-ка, барчук?

И с каким удовольствием барчук забивался тогда с Мишкой в угол и каким торопливым шепотом начинал считать, воробьев, пока явившаяся за ним кухарка не увозила их обоих на розвальнях домой!

Мать Мишки жила тогда у Волковых. Теперешний помощник директора опытного поля ревел тогда по целым вечерам, если к нему не пускали Мишку. У Мишки болели с лета губы от лопухов и козельчиков, и боялись, что это пристанет к барчуку. Но Мишка успевал-таки иногда удрать в хоромы. Вечером он внезапно влетал в детскую.

— Насилушка убёг, — говорил он, запыхавшись, и его глазки сверкали радостью.

От него пахло снегом, зимней свежестью;

он летел по сугробам босой, в изорванной на животе рубашонке и коротеньких портчонках. Нянька с неудовольствием поглядывала на него, грязного от сажи, оборванного и взлохмаченного. Но Митя испускал при его появлении звонкий крик, настаивал, чтобы Мишка непременно остался с ним в детской на ночь. Весь вечер они строили на постели «кутки», были «нарочно разбойники», разглядывали и вырезывали картинки...

«Как же так случилось, — думал Волков, — как могло это случиться — эта голодная смерть?»

Его повезли в летний день в тарантасе в город в гимназию. Мишка только за гумном успел увидеть его. Он с утра сидел в коноплянике, желая проститься с ним. В дом, где была суета, его не пускала мать... И когда Митя довольно холодно попрощался с ним, он повернулся, заплакал и тихо пошел по меже к деревне, поддерживая одной рукой штанишки и ступая босыми ножками по горячей пыли... Митя же глядел вперед, все мысли его заняты были только новым кепи...

В гимназии он стоял на актах и ждал

книжки с золоченым переплетом, а Мишка в это время стоял с плетушкой колоса около риги... Надвигались зимние сумерки... все было серо, тихо в деревушке, приютившейся около лощинки, среди снежных полей, слившихся с темным небом... слышались голоса баб, скликавших выпущенных овец — «вычь, вычь, вычь!..» Покачивая бадьей, его мать шла в лощину за снеговой водою...

Митя в бессознательном веселье напивался на первых студенческих вечеринках, а Мишка был в это время уже хозяин, мужик, обремененный горем и семьей. В те зимние ночи, когда Митя, среди говора, дыма и хлопанья пивных пробок, до хрипоты спорил или пел: «Из страны, страны далекой...», Мишка шел с обозом в город... В поле бушевала вьюга... В темноте брели по пояс в снегу мужики, не присаживаясь до самого рассвета: на санях были навалены бочки с винокуренного завода. Иногда весь обоз останавливался... Сквозь вьюгу и ветер слышалась перекичка, ругань... Мишке приходилось лазить по сугробам, отыскивая дорогу, или одеревеневшими пальцами и зубами затягивать оборвавшуюся

завертку...

Когда Митя приезжал гимназистом на каникулы, он еще был близок с Мишкой. Он просил его говорить ему «ты», они ходили с ним ловить перепелов, вели душевные беседы, лежа по ночам на межах, среди ржей. Но потом...

Волков закрыл лицо руками. Он вспомнил свою последнюю встречу с Мишкой — месяца три тому назад, на Рождестве.

Волков был в деревне. На хутор съехалось много гостей. На другой день Нового года задумали ехать в город, в театр, и ночью поехали на тройках на станцию.

Ночь была страшно морозная и ветреная; сухой, мерзлый снег визжал и скрипел под санями; за необозримым мертвым полем всходил красный огромный месяц, и в его низком свете видно было, как задирала и дымилась поземка. Волков, отвернувшись от колющего ветра, слушал визг саней и курил папиросу; ветер разносил красные искры и доносил до него отрывки разговоров, смех, звон бубенчиков на другой тройке... Кто-то крикнул: «Пошел», лошади рванулись, ветер стал кидать

снегом в лицо и размахивать и отбрасывать обмерзший воротник. Волков приподнялся, чтобы поправить шубу... Чья-то пешая, занесенная снегом фигура мелькнула перед ним.

На станции пришлось ждать долго, и когда Волков пошел пред приходом поезда в залу третьего класса за билетом, то увидел эту фигуру около дверей.

— Мишка! Ты? — воскликнул Волков.

И вдруг случилось то, от чего теперь у него облилось сердце кровью: Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапчонку и ответил испуганно и покорно:

— Я-с, Дмитрий Петрович...

— Ты зачем здесь? — спросил Волков, подавая ему руку.

Он был в растрепанных лаптях, и углы воротника его рваного зипуна торчали по-нищенски, закрывая исхудалое, больное лицо.

— Попроситься в город, — отвечал Мишка простуженным голосом.

— Как попроситься?

— На машину...

— Да как попроситься?

Мишка слабо улыбнулся.

— Даром не проедешь, — сказал он тихо.

Волков купил ему билет, всунул его в руку ему. Мишка, стоя без шапки, долго и безучастно глядел на билет.

В поезде Волков вспомнил про Мишку снова и пошел искать его. В промерзлом, трещащем на ходу вагоне он увидел его около красной, раскаленной печки.

— Ты зачем в город-то?

— Беда! — заговорил Мишка монотонно. — Може, в городе что найду... Совсем обезживотел...

— Не может быть! — воскликнул опять Волков. — Не может этого быть!.. Коллекции, гербарии... «Кормовая свекловица»... Какая галиматья!

И, стискивая пальцы, стал хохотать и качаться, как от зубной боли.

Комментарии

Журн. «Русское богатство», СПб., 1895, № 6, июнь, под названием «Неожиданность», с подзаголовком: «Очерк». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений*.

В. Н. Муромцева-Бунина утверждает, что в рассказе «был выведен крестьянин, друг детства, отрочества и ранней юности автора, умерший во время всероссийского голода» («*Жизнь Бунина*», с. 84).

Рецензент журнала «Образование» (СПб., 1902, № 12, декабрь) в статье «Красивое дарование» одобрительно отзывался о рассказе. Он представлялся ему «самым замечательным из произведений г. Бунина... Превосходно краткое описание... судьбы Мити и Мишки... — судьбы, в которой так сказалось их классовое и имущественное различие... в нем чрезвычайно художественно выражена высокая мысль».

Статистик земства г. Валки Харьковской губ. А. В. Неручев 8 ноября 1895 г. писал Бунину о рассказе: «Здесь, как мне кажется, очень хорошо выражена несправедливость эконо-

мических, политических и иных прочих неравенств; мне кажется, что об этом надо писать, на эти несправедливые условия бить, — чтобы приносить пользу писанием» (ЦГАЛИ).

Современники не заметили в рассказе другой, не менее важной для молодого Бунина проблемы: писателя волновал вопрос об ответственности интеллигенции за «несправедливые условия» жизни народа.